

Тамара



Пра
родш

Жирмунская



ЖИРО
ЗОНИК

Тамара
Жирмунская

Праздник

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМА

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОК»
1993

ББК 84Р7
Ж73

*Книга издана при участии Гугеевой И. Р.;
Шейн А. С.*

Жирмунская Т. А.

Ж73 Праздник: Новые стихотворения и поэма.— М.: Современник, 1993.—102 с.

ISBN 5-270-01589-7

Впервые в издательстве «Современник» выходят стихи Тамары Жирмунской. Одна из «шестидесятниц», поэтесса сначала вышла к людям с устным поэтическим словом: успешно выступала в Лужниках, в залах Москвы и Ленинграда, а также по всей стране.

Однако с годами «эстрадный налет» исчез из ее стихов. Эта книга действительно новая, потому что в ней идет разговор о самом главном: Вере, Надежде, Любви, без которых немислима достойная человека жизнь.

В сборник вошла поэма «Мать Мария». Героине поэмы — поэтессе Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, подвижнице, рядовой Христа войска, героически погибшей в Равенсбрюке, исполнилось бы в 1991 году сто лет.

Ж $\frac{4702010202-021}{M106(03)-93}$ 153-92

ББК 84Р7

ISBN 5-270-01589-7

© Жирмунская Тамара Александровна

I

Я В ПЕРВЫЙ РАЗ ЖИВУ

ПРИЗНАНИЕ

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.

А. Ахматова

Я в первый раз живу — и потому
не превзошла премудрых по уму,
провидцев зоркостью не обскакала
и знаю лишь концы, но не начала.

Все упования века, все химеры
я разделяла с рвением и верой.
И для меня тугая плотность мира
еще непостижимее эфира.

Когда я буду жить не в первый раз,
я дам свой безошибочный наказ
всем тем творцам, кто свет узрит впервые,
как стих слагать и сеять яровые.



Жду дорогого гостя
на платформе дощатой.
В руке моей онемелой
зажат букетик помятый.
Уже фонарь станционный
свет неохотно цедит,
а кто обещал приехать,
почему-то не едет.
Толчется над головою
мотыльковая стая,
в полупрозрачный конус,
как в сачок, залетая,
вздрагивают зарницы,
небо чёрно и млечно.
Видно, моя планида —
ждать и встречать вечно.
Кто преуспел, встречая,
дома пьет чай с повидлом,
кто проторчал напрасно,
ушел с оскорбленным видом.
Только я и осталась
на платформе бессонной —
дощатую лет уж десять
как сменили бетонной.
Поблескивают рельсы,
пахнет липой и гарью.
«Ну, еще один поезд!» —
сама с собою играю.
Уходит в вечность платформа
и электричка за нею.
А я все стою с цветами,
свой пост покинуть не смею.

* * *

Т. Великановой

Мир спасать или только Россию,
но немедля, всем скопом, дружной...
Как стара эта песня, какие
песнопевцы срывались на ней.

В царстве трусости праздновать труса
очень стыдно. Но, совесть, прости:
как известно с времен Иисуса,
этот мир невозможно спасти.

И, выходит, напрасны старанья,
бесполезен спасительный хор,
а Фемида бесстрастною дланью
всех спасателей да на костер...

Но душа, что в безумном порыве
разбросала любви семена,
о грядущей напомнила ниве,
та душа, видит Бог, спасена.

1980



Жизнь начиналась, как у всех,
но были маленькие льготы:
не молк мой полуночный смех,
когда отец, придя с работы,
меня колюче целовал
под гимн «Интернационал».

Да, были льготы вне заслуг:
семья дружнее, чем у подруг,
дом интересней, двор просторней,
славнее всех земель земля,
где спелись, полноту суля,
мои — из разной почвы — корни.

Потом наметился надлом:
потух и обезлюдел дом,
мотивы детства отзвучали,
зуд фанаберии исчез
и жидок стал противовес
тоске, безверью и печали.

Чем дальше в лес, тем больше дров...
В один из роковых годов
со мной сдружилась невезуха,
и корни бедные мои
сплелись, как будто две змеи;
высасывая кровь друг друга.

Хотя врачебный приговор
звучал невинно: «анемия»,
никто не знает до сих пор,

куда девались кровавые
тельца, не съел ли, вот вопрос,
их притаившийся лейкоз.

А что? Стрaдание — нарыв.
Болезнь вскрыется, изныв,
твое немолодое сердце.
Лечить недуг? Лечите дух!
Покой, надежда, верный друг —
вот патентованные средства.

Когда-то я прочла роман,
что написал Ромен Роллан,
тогда я упивалась книгой,
теперь остыла к ней слегка.
«Ничто не кончено, пока
ты жив»,— сказал француз великий.

«Ничто не кончено»,— твержу
земле, по коей я хожу,
тебе, любовь, тебе, природа.
«Ничто не кончено»,— шепну,
когда в последний раз глотну
из черной трубки кислорода.



Сынок заезжен и замотан,
уклончив друг.
Схватила чудом «Бурда моден»
из третьих рук.

И счастлива. Как в том апреле,
как жизнь назад.
Красавица! Вы присмотрели
себе наряд?

«Дерзайте»,— призывает немка,
магистр иглы.
Блестит неюная коленка
из-под полы.

Толкучка. Климакс. Перестройка.
Житье-вытье.
Но успокаивает кройка,
бодрит шитье.



Согласна эту жизнь делить
с Малютой или чертом лысым,
но, умерев, хочу побыть
между Мариной и Борисом.
По праву младшей, но сестры,
по праву коренной землячки
хочу, вкусив их чистоты,
очнуться от житейской спячки.
Главу, как в храме, обнажив,
сказать: Кремль и Тверской — все те же,
Трехпрудный переулок жив
и цело здание Манежа.
Не все поделено промеж
радетелей на час и быдла,
не все с диппочтой за рубеж
доходно и бесстрастно сбыто.
Он жив еще, российский дух,
подвергнутый мильону пыток,—
в сырых каморках развалюх,
в квартирах малогабаритных.
И даже выдворенный прочь,
утративший права гражданства,
он не умеет превозмочь
безумной жажды постоянства.
И мчится из последних сил
туда, где краски так унылы,
где над равнинностью могил
встают поэтовы могилы.

Скорее, выше облаков,
домой! И для него едины
погосты нищих и богов,
Бориса сон и стон Марины.

1976

ДИЕТА

Вы соблюдаете диету?
Я соблюдаю, но не так,
как делает работу эту
один знакомый мне чужак.

Большим досугом обладая
и перебрав букет невест,
он в институте голоданыя
излишний сбрасывает вес.

А я худею без режима,
без диетических затей:
меня будильника пружина
выбрасывает в новый день.

Я не могу предаться плену
хозяйства — высший смысл ищи.
Одной рукой пишу поэму,
другой — помешиваю щи.

Звонок. Журналу нужен мигом
мой отклик, время упусти.
Одной рукой листаю книгу,
другой — рецензию строчу.

Приходит дочка. Безразличье
к вещам, к урокам — налицо.
Одной рукой в задачник тычу,
другую — чищу пальтецо.

Опаздываю. Зал. Фотограф.
Боюсь запутаться в стихах.
Одной рукой даю автограф,
другой — уже ищу пятак...

Все тривиально. За героя
не выдаю себя отнюдь.
Я — лошадь: я питаюсь стоя
и стоя норовлю соснуть.

УЧИТЕЛЬ

Михаил Аркадьич Светлов
был из тех святых чудаков,
что приходят во дни холеры,
грозных распрей, великих битв
и превыше других молитв
ставят собственный «Символ веры».

Все, казалось нам, знает он:
кто из нас творить обречен,
кто молчать, кто уйти до срока.
Точно ел он небесный хлеб
и водил по Книге Судеб
неподкупным оком пророка.

Он учил стыдливости нас,
как из облака, тихий глас
раздавался:
— Щадите слово!
Слово стоит тысячи слов...—
Мы не знали других богов
и считали богом Светлова.

Тяготился он этим, факт.
И, наверное, думал так:
«На безрыбье и рак в почете...»
И святой, и пророк, и бог,
все он сделал для нас, что мог,
и сгорел на этой работе.



Я застала в цвету поколение,
победившее в сорок пятом.
Мое первое стихотворение
было выслушано солдатом.

Комиссар по плечу меня хлопнул,
обозначив судьбы начало.
Командир каблуком бил об пол,
чтобы рядом с ним танцевала.

Что же это такое, братцы:
не война, а вас выбивает.
На кого мы могли равняться,
те лежат — ровней не бывает.

Не отцы лежат,
но родимые,
не мужья,
но втайне любимые.
Все, бывало, о высшем толкуем...
Вижу профиль,
сухой и правильный,
в лоб целую,
крутой и каменный,
всем дозволенным поцелуем.

ХРАМ

Пришла пора менять учителей.
Гляжу, как блудный сын после разлуки,
на Божий храм: должно быть, он светлей,
должно быть, он теплей, чем храм науки.

Нарядный деревянный теремок,
оправленный в резную рамку сада,
в следах ремонта... Может, Бог помог,
а может, помогла Олимпиада.

О, сколько я блуждала по путям
окольным, по дорогам непроезжим,
себя раздаривая по частям
йогам, теософам и невеждам.

Искала жадно: кто чего писал
о духе, о душе. Глаза ломала.
Дрожала, ночью «выходя в астрал»
и утром «возвращаясь из астрала»...

А путь от человека к Богу прям.
Так мне сказал священник, чья задача
нас, чернокошечников, вводить во Храм
и делать зрячей душу, что незряча.

Красив священник. Редко на Руси
в сем званье соплеменник Сына Бога.
И храм его стараньями красив,
пусть кто-то и скривится: синагога.

У храма — домик. К батюшке — толпа.
Кто — истину найти, кто — грусть развеять.
Душа проснулась, но еще слепа.
Хочу поверить и боюсь поверить.

1980



П. С.

Мне не за что больше держаться,
земля уплыла из-под ног.
Ты мог моей смерти дожидаться,
но жить ожиданьем не смог.

И вот в голубой круговерти
твой лайнер вершит виражи,
и как репетиция смерти
взлет плотью одетой души.

Навек разлученные силой...
Ведь там, в измеренье другом,
не скажешь: «До скорого, милый!»,
мы вечность с тобой обретем.

Вон гусеница электрички,
вон дом, обреченный на слом,
вон кладбище. Только таблички
моей еще нету на нем.

1981

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Рядом с «Галантереей»
«Овощи», где в гнильце
роется Гера с Геей
во едином лице.
В заскорузлых митёнках
мечет на чашу фрукт.
Может, только в аптеках
бабьи весы не врут.
Путь с работы: автобус,
истинно рыба-кит,
всех в кишечную полость
засосать норовит.
В тесноте не до видов,
смотрят два глаза врозь,
«для детей, инвалидов»
вдруг ей место нашлось.
Вышла. Сквозь лаз в заборе —
ближе. Плюхнулась в грязь.
Вся семья, поди, в сборе,
заждалась, заждалась.
Горкой — стеклопосуда.
Мужа и след простыл...
Никому не подсудна,
окромя высших сил.



Из дальних странствий ворочусь,
хоть никуда не уезжала,
и от наплыва нежных чувств
набухнут лампочки вокзала.
Как тускло в городе родном!
А не прошло еще недели,
как за мучительным окном
огни Манхэттена горели.
Я испытала сей соблазн:
встать, распахнуть — и рыбкой, чтобы
еще одну чужую казнь
пронаблюдали небоскребы,
но стало страшно мне тогда,
что вечность у меня в запасе...
Пошла считать я города
так, как считают деньги в кассе.
Все испытала, до суммы,
пока вас тут снедала косность.
Но я устала жить взаймы
и обивать пороги консульств.
И вот вернулась.
— Хороша! —
сказал доброжелатель странный,
не зная, что моя душа
и есть мой край обетованный.

1980

Первый был молод,
второй — трусоват,
третьему
норов
свет застилал —
и пошло невпопад:
смена партнеров.

Только прижметесь
к любимым губам —
нет их, растаяли.
В лифте
кто-то лениво потянется к вам,
слезы и смех,
«фифти-фифти».

Только задёржите
нервной рукой
руку, родную на ощупь, —
кто-то подсунет другую,
с другой
неинтересней, но проще.

Хочется выплакаться
горячо
в чью-то рубашку
из ситца —
о хлорвиниловое плечо
вашей слезе
преломиться.

Смена характеров,
взглядов, тирад,
баков, проборов.
Боже, ты знаешь,
какой это ад —
смена партнеров.

Не от забот,
не от черных работ,
не от семейных раздоров,
не от текучки
избавь меня —
от
смены партнеров.

ИСПОВЕДЬ

«Свои проблемы ты решай сама!»

А мне понятна к исповеди тяга:
не изводиться, не сходить с ума,
не выгибаться, как в огне бумага.
Расслабиться. Стать меньше малых сих.
В исповедальне, как во мраке спальни,
шептать, шептать о горестях своих
тем истовей, чем исповедь печальней.
Грехов у женщин нет! Зато обид,
сомнений и отчаянья — навалом.
И я туда же? Совесть не велит
воспользоваться даровым каналом...
Под вечным небом, в золотом лесу,
пылинка между той и этой твердью,
свое я покаянье принесу
глубокое, как будто перед смертью.
Не басурманка, но не крещена
ни в медной, ни в серебряной купели.
Моих родных беда, а не вина:
в те времена
с церковью кресты летели.
Что называла Родиной? Жнивье,
речушки, дали, светлое пространство —
Святую Русь, поправшую свое
почти тысячелетнее христианство.
Любила. И не одного — двоих.
Обоими была любима в меру.
Страдала? Да! Но ни один из них
меня не обратил в Христову веру.
Когда казалась ноша так тяжка,

что жизнь и смерть — все было мне едино,
какая-то незримая рука
меня от края бездны отводила.
— О, дочь моя! — мне слышалось в ночи.—
Не соблазлись Голгофой малой этой,
слезами рану сердца омочи,
восстань, утешься и за мною следуй! —
Да будет так! Тщету и боль и грусть
я выплачу над золотой полянкой,
язычницей на землю повалюсь,
а подымусь с колен уже христианкой.

1980



Зачем ведешь меня, Господь,
такими узкими путями,
такими тесными вратами,
где никнет дух и стонет плоть?

Я так хотела полноты
и жизни, и любви, и страсти.
Ты дал мне это. Но напасти,
их тоже насылаешь Ты?

Моя семья, мой свет в дому,
как ни смирялась я, распалась.
Возьмусь за давний труд — усталость
и гробовой вопрос: к чему?

К чему любить, к чему писать,
когда дела мои все хуже?
Безвестный лирик и к тому же
негодная жена и мать...

Не Бог, что от людей сокрыт,
но, видя, что из сил последних
я напряглась, Его Посредник
со мной безмолвно говорит.

— Тебе не нужно ничего.
Уют, карьера — все химера.
Твои страдания — это мера
любви и милости Его.

Мы — поколение унесенных ветром.
Куда ни кинь, разлуки и распад.
Мир не в себе, и только Небу ведом
всех передряг конечный результат.

И я склонялась мыслями к отъезду,
ждала чего-то с жаром и тоской.
Но, точно кошка привыкает к месту,—
привыкла я к Москве, срослась с Москвой.

Не завела я ни икон старинных,
ни ваз — что мне таможенный досмотр?
Но мамина могила, пять былинков,
кто их посадит в землю и польет?

Я не стяжала ни мехов, ни злата,
в одной руке багаж свой унесу.
Но жалко было покидать Булата
и нескольких родных по ремеслу.

Нет, я к виску не приставляла дула —
лишь леденела с головы до пят...
Две чаши у весов — перетянула
та, где Москва, и мама, и Булат.

Меня пытаются: что все это значит?
Туда... Сюда... Россия — не вокзал!
По мне хорошая дубина плачет.
Ну, а Булат иное мне сказал.

Познав любовь, и веру, и надежду,
не страшно в самом яростном огне.
И сбросила я прежнюю одежду,
и свет Преображения на мне.

1981

Не бойся, не бойся, не бойся
лихой перемены в судьбе:
низвергнутый временем бонза —
теперь не указчик тебе.
Не бойся, что будешь обыскан
и в черные списки внесен,
чтоб вместе с простором российским
кандальную петь в унисон.
Но в небе, где проблески редки,
Земля, словно елочный шар,
дрожит на подрубленной ветке.
Кому же он вдруг помешал?
Зачем мы над бездной повисли,
зачем поперек естества
изводим высокие мысли
и дышащие существа?
Ни плит, ни крестов, ни надгробий.
Толчок — и сольется вот-вот
тьма внешняя с тьмой наших фобий,
злых целей и грубых работ.
Смотри-ка: из глуби, из мрака
опять выплывает тайком
понятие божьего страха,
забытого в страхе людском.

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН

В мирские страсти погружен,
захвачен суетным круженьем,
ни величавым¹ не был он,
ни уж тем более блаженным.
Его бесчувствие зашло
за край, и мать Августина
свое печальное чело
к епископу оборотила.

— Доколе же, святой отец,
ему бесчинствовать, доколе?
Он много сокрушил сердец,
но сердце матери — всех боле.
В удушье дымного столба
безверья

гаснут искры веры.

Пока душа его слепа,
она гоняет в поле ветры.
— Молись! — мудрец сказал. — Тебе
с надеждой надо причаститься.
Сын сам прозреет и в себе
возненавидит нечестивца.
Но обрыдавшая мать —
ей вдруг открылась ада бездна —
владыку стала умолять
поставить грешника на место.
Тогда епископ произнес:
— Ступай же! Быть того не может,
что чадо столь горячих слез
господней славы не умножит.

¹ В е л и ч а в ы й — август (лат.)

...Жизнь — миг. Продлим же этот миг,
мне больше ничего не надо.
Прозреешь! Тайных слез моих
неуправляемое чадю.

ВЕСЕННЯЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ МОД

В. Корнилову

Какие наряды!.. Сначала черемуха в свадебной фате — перепутала век феодальный и ядерный. Еще не успели отхлопать — любимы вишнями, надевшими белый перлон, но с турнюром и фижмами. Сирень — вот ее называют воистину вестником весны и любви — в блузах, шитых неоновым крестиком. А что там маячит балетными пачками? Я бы не ответила с ходу: то сливы, иль груши, иль яблони... Какие фасоны! А может, все это мерещится? Какие портнихи, закройщицы и манекенщицы! Зарплату берут не деньгой — соловьиными песнями. Не ждут чаевых, не хотят выходных и не требуют пенсии.



Памяти А. В. Меня

Воскреснув рано в первый день недели,
Иисус явился сперва Марии Магдалине...

Евангелие от Марка

Я — Фамарь, я — жена-мироносица:
три Марии и рядом Фамарь.
Надо мною столетья проносятся,
мне же видится то, что и встарь.

Крест. Фигура страдальца. В изножии
стайкой женщины. Ропот и стон.
Гвозди вбиты в запястья. Художники
их в ладони врисуют потом.

— Сестры,— молвит Он молча,— как стражду я.
Вы бы с Матерью прочь отошли...
О, любовь зорче делает каждую —
видим сквозь оболочку души.

Но, наверно, нам знать не положено:
тьма кромешная света полна,
то, что в склеп мертвым знаком положено,
всколосится на все времена.

Все мутней, все пустынное пригород...
Чтоб украсить свое торжество,
Он презренную женщину выберет,
и она обессмертит Его.

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО ВЫЧКА

Живу в Быково.
А что такого?
На зимней даче.
А как иначе?
Живу в раю:
ковшом струю
ловлю, а сток —
за уголок.
Благодари,
что кран внутри.
Удобства — хуже:
они снаружи.
Суп из пакетика —
вот вся эстетика.
Стихи и проза —
как род наркоза.
Сижу, печатаю.
А напечатают?
Молодкой сдашь
в отдел поэзии,
когда издашь —
уже на пенсии.
А проза — это
мечта поэта.
Письмо в инстанции:
«Жду вашей санкции».
Ответ поэту:
«Бумаги нету».
Живу в Быково...

(читать сначала)

ПРАЗДНИК

В день всех святых я встала в шесть,
страхнула чары летаргии,
чтобы на ранний поезд сесть,
успеть к началу литургии.
Разубрана в цветы и шелк,
церквушка пахла чем-то дивным,
и батюшка по кругу шел,
махая тлеющим кадилом.
Был праздник в празднике другом:
Тысячелетия крещенья.
Священник говорил о том,
что жизнь воистину священна.
Убийцы в крайней слепоте
походят на зверей пристрашных,
а души мучеников — те
в бездомных носятся пространствах.
За каждым — долг, на каждом — грех,
разгул зловолия — застенок.
Молитесь, он сказал, за всех
в земле Российской убиенных.
И кто-то, отогнув парчу,
прильнул к иконе, боли полон,
и кто-то прикупил свечу,
последним жертвуя оболон.
Чем я могла утешить их,
всю литургию простоявших,
в июньский день, день всех святых,
в Земле Российской просиявших?

ВРЕМЯ

Закругляться или
по второму кругу?
Если наземь сбили,
подтянуть подпругу,
снова ногу в стремя,
прямо сесть — не криво.
Ишь какое время:
дует в хвост и в гриву...
Миллион приезжих —
дома не сидится —
каждый день прилежно
шарят по столице.
В отпуске законном,
с денежкой в кармане,
бродят по районам,
словно марсиане.
Не узнать Кузьминки
или Тропарево.
Сервис без заминки —
сядешь, и готово:
ты побрит-пострижен,
ты помыт-покрашен,
отдает Парижем
в исполнение нашем.
Алкашей не видно,
вымерли бедняги.
До чего невинна
очередь в продмаге.
«Чиним!», «Кормим!», «Лечим!»
Не житье — восторги.

На прилавке печень,
правда, в коопторге.
Жить все интересней,
люди мои, люди.
Как поется в песне,
«то ли еще будет».
Я душой не с теми,
кто завел отходную.
Спрашиваю время:
«Место есть свободное?»
Говорю как другу:
«Окажи услугу,
чтоб не закругляться —
по второму кругу!»

1987

СОН

В ночь на двадцать седьмое апреля
мне приснился Слуцкий Борис Абрамыч:
мы за длинным столом сидели,
было светло, невзирая на ночь.

Гамма чувств в сновиденьях богаче.
Мне как будто по сердцу мазнули медом.
Я сознавала, какая удача
видеть того, кто считался мертвым.

Он не любил никаких комедий,
но я не сдержалась: «Я так вам рада!»
Слуцкий поднялся, как по команде,
и с мерклым лицом зашагал куда-то.

Почему по-братски меня не обнял?
Почему уходил в строгом молчанье?
Три дня спустя мир узнал про Чернобыль.
А ведь он от младенчества харьковчанин.



Я прожила свой век
в первопрестольном граде,
где тишь библиотек
подобна канонаде,
а кто рожден творцом
и неизвестен в мире,
кончает жизнь свинцом,
но чаще — харакири.
Среди лилей-идей,
чей аромат так долгов,
в саду очередей
и опустелых полок
недолгий свой приход
чем я могла отметить?
Забыв небесный код,
друзьям за что ответить?
Конечно, за грехи,
из коих главный — вера
всей жизни вопреки
в скрижали Робеспьера.
О, либерте! Налит
божественный напиток,
но чан уже кипит,
звенят орудья пыток.
Эгалите! Но тот,
кто в званье санкюлота,
сперва реванш возьмет,
распотрошив кого-то.
Фратерните! Виват!
А если разобраться,
пойдет на брата брат.

Какое же тут братство?..
Хотя с того котла
я не снимала пенки,
не резала, не жгла,
не пригвождала к стенке,
да и семью погром
не тронул — это верно,
меня, как всех кругом,
растлила эта скверна...
Злой гений здешних мест
не заварил ли кашу,
чтоб предложить нам тест
на профпригодность нашу?
Что в душах — свет иль мрак?
Мы люди или звери?
Я верую. Но как
избыть свое неверье?
А эта чехарда
мук, и потуг, и схваток —
не Страшного ль суда
причина и задаток?
Чтоб в ад сошли и чтоб
в смятении великом
вдруг встретились лоб в лоб
с Нерукотворным Ликом?

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Уж если речь о покаянье,
хотим того иль не хотим,
не полагайте, россияне,
спастись одним, пускай, святым.
Мы все, как говорится в Книге,
и соль земли, и кровь, и гной,
мы все — бесчисленные миги
в потоке вечности одной.

1987



— Ты добра?
— Я не добра.
Просто нету выбора.

Просто можешь, просто рада
человеку удружить,
а самой немного надо:
на земле еще пожить.

Можно девочке горячей —
взгляд от мира отрешен —
доказать, что данный случай
не смертелен, а смешон.

Можно очень постараться
для красавца одного.
Хорошо, что от красавца
мне не нужно ничего.

Можно тех, до свар охочих,
разрядить, расстыковать,
а самой уйти в тенечек —
вот какая благодать.

Были поры — так мне впору,
как хрустальный башмачок,
были поры — хуже мору:
дверь и сердце на крючок.

Надвигается пора
безвозмездного добра.

ВЗРОСЛОЙ ДОЧЕРИ

Твой отец называет тебя
самым дорогим существом на свете,
твой молодой муж говорит,
что в мире нет существа
прекраснее тебя...
Для меня же ты —
прежде всего душа,
выпорхнувшая из моего кокона.
Когда две его золотистые половинки
истлеют под твоим крылом
(а это участь всех органических соединений,
какие есть на земле),
не лей обильные слезы:
от них может смыться твой неповторимый узор,
а постарайся взлететь
хоть немного выше той отметки,
что оставила на прозрачной шкале бытия
я, твоя мать...
Ты спросишь, в каком смысле.
Ну, конечно, не в смысле
приобретения вещей
и даже навыков преуспеяния.
Превзойди меня
в ощущении полноты жизни,
своей уместности и необходимости в ней —
этого достаточно.
По-моему, только так
осуществляется прогресс.
Человек и задуман как существо,
но существо крылатое.

Уехала бы, если бы не Бог,
увидела бы площади другие,
на Пушкинской оставив сердца клок,
скормив его собакам ностальгии.

Играла бы с фортуной в дурака,
жила бы на дворах на постоянных,
странна, как шестипалая рука
среди принципиально пятипалых.

Дефект рожденья или дар небес,
излишек там, где торжествует норма.
Как мышцы атрофируются без
движения, дух сохнет без прикорма.

Есть чистый дух, но не про нашу честь.
Он — вещь в себе (формулировка Канта).
А дух земной, тот просит пить и есть,
зачем ему диета эмигранта?

Хоть русский дух не брезгует ничем,
подножный корм ему всего дороже.
Свобода ото всех — она зачем?
Свобода от всего — со смертью схожа.

...Пообещав бесплатный Колизей,
черт задарма скупает наши души.
А голоса уехавших друзей
звучат все нереальнее, все глуше.

* * *

У тебя инстинкт самца:
домик свить у пенушка,
оградить от стервеца
самку и детеныша.

Сколько раз, летя, куда
колется, но хочется,
задевала провода,
чтоб под током корчиться.

Сколько раз, глотая крик,
вся в плевках ожоговых,
забывалась я в твоих
перьях длинных, шелковых.

Ну, еще разок нырну.
Что со мною станется?
Обожгусь, вернусь, прильну,
вместе будем стариться.

Если ж нет, то все путем:
в сини вся истаяла,
наше позднее дитё
на тебя оставила.

ДВОЕ

Есть в любви исполнитель,
но есть и заказчик:
кто-то музыку крутит,
а кто-то танцует,
кто-то ходит в смиренных,
а кто-то в давящих,
кто-то лоб подставляет,
а кто-то целует.

Если встретит заказчик другого —
с другого
он попробует снять
аккуратную стружку,
и бедняги взглянут,
как дракон на дракона,
извергая огонь
и пугая друг дружку.

А у двух исполнителей
нету охоты
что-то там сочинять
наподобье утопий,
их семейная жизнь
зацветет, как болото,
оба взвоют с тоски
в этой бархатной топи.

Есть в любви исполнитель,
но есть и заказчик.
До чего же несхожестью
сродны своею!

Кто-то первый сыграет
в поддавки или в ящик.
А второй? О втором
я и думать не смею.

ПАМЯТЬ

Да, это был шестидесятый год.
Я отучилась в стихотворной школе.
Но позвонил учитель мой, что вот
поэт явился, Передреев Толя.
Откуда он явился? Данных тех
не сообщил — из некоторой дали.
Поэт всегда как на голову снег:
не думали, не ждали, не гадали.
Мы встретились... Мальчишеская прыть
и тишина в нем уживались грозно,
и страшно было разорить
глаз глубоко посаженные гнезда.
Уют провинции и неуют
барака вылились его натурой,
такого под нулевку остригут —
он все мотает прежней шевелюрой.
Спортсменски сбитый, с жилистой спиной,
правофланговый майского парада,
он жадно рвался в главный град земной,
душой взыскуя неземного града.
А я, осуществляя чей-то план,
болталась по окраинам. Вдруг стану
чужой народу? План спустил болван.
Поэзия творится не по плану.
На миг сходились наши поезда,
на миг встречались наши самолеты,
но было много общего: звезда
в тумане и ни денег, ни работы.
...Мы миновали церковь без креста
(болван велел киношкой сделать церкву)
и шли, держась друг друга, — брат, сестра, —

от городского центра к телецентру.
А был тогда на Шаболовке он.
Оглохшие в трамвайном тарараме,
мы рядом шли. Но тень иных времен
уже втиралась между нами.



Не надейтесь на князи, на сыны
человеческия, в них же несть спасения.
Псалом 145

Сто сорок пятого псалма
слова не требуют разгадки.
Пожив, я знаю и сама,
что с человека взятки гладки.
И брат, и друг, и смерд, и князь —
добыча суеты и смерти.
Не раз на князе обожглась,
чего уж говорить о смерде.
И все-таки, когда в беде
рука протянется с боязнью,
но и с решимостью к тебе,
противовесом безобразью;
когда кругом царит разор,
а кто-то супротив решает:
в ведре строительный раствор,
как хлеб грядущего, мешает;
когда в реакторе разлад,
в особенности том, четвертом,
а чья-то доблесть — прямо в ад,
смотря в глаза живым и мертвым,—
одушевил ли эту плоть
машинный разум, что от века
над нами бдит, иль Сам Господь,—
надеешься на человека.

* * *

Дóма творчества дикую кличку
он оттрнул...

Б. Ахмадулина

И в небесных селеньях мне мнятся такие дома...
Неужели и там, за бортом, в голубом беспределье,
я услышу, как жертва ИМЛИ от большого ума
полагает «извлечь» из Луны «основные идеи»?

Неужели и там, заведя палку за спину... нет,
физкультурным снарядом поглаживая поясницу,
истомленный стукач девяноста без малого лет
утверждает, что чист, и судебным процессом грозитя?

Неужели и там критикессы, метрессы и др.
воскрешают былые грешки под покровом сиреней
и тишком в поминальник, затертый почти что до дыр,
вносят несколько лиц, и одно из них — гений?

Если там все, как здесь,

или, правильной, здесь все, как там,
я, конечно, взмолюсь: «Отпустите меня, не держите!»—
и в Небесный литфонд поскорей заявленье подам:
«Прерываю свое пребывание в сем общежитье!»

Ну, а вдруг мне ответит какой-нибудь вечный и. о.:
«Вы грешны, как и все, но не злы и не слишком порочны.
Ад и рай — не для вас, вот какое кино.
Пребывание ваше в межеумочном доме — бессрочно».

* * *

Я — свидетелем чужой любви:
днем — подружкой,
вечером — подушкой.
О нейтралитете объяви,
и тебя сочтут вдвойне бездушной.
Я — сестрой: «Довольно! Перестаны!»
Я — судьей: «Да это пережиток!»
Я — поверенной все тех же тайн,
писем, заиканий и ошибок.
То шучу: «До свадьбы заживет!»
То язвлю: «Заученная фраза!»
И меня часами напролет
слушают два удивленных глаза.
Я кричу: «Беги, лети, зови,
если вы друг другу обещались...»
Где свидетели моей любви?
Струсили? Притихли? Разбежались?

АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ

В день Вашего юбилея
(а Вам всегда будет тридцать)
с одной небольшой компанией
я забрела к Вам на дачу.
Конечно, она пустовала,
ведь Вы тут почти не живете,
приезжали на съемки, как мне рассказали,
но длились они недолго.
Что сняли телевизионщики?
Общее захламление?
Ваш холодильник «Север»
в глубине застекленной террасы?
Или сад, сырой, неухоженный,
но обдающий свежестью,
как ветка жасмина, что высунулась
из пышного зеленого рукава?..
Чем больше общество занято
борьбой хорошего с лучшим,
а также плохого с худшим,
экономическими проблемами,
идеологическими пробелами,
искоренением пьянства,
«Памятью» на грани беспамятства,
диалогом двух формаций,
ремонт подземных коммуникаций,
который никогда не кончается,
тем больше оно нуждается
в таком, как Вы, поэте.
Сложном, как сложно все сущее,
от атома до универсума,
упорно держащемся за понятия,

поставленные под сомнение:

День творенья, душа, воздаянье, Страшный суд,
красивом во все возрасты,
воистину созданном
по образу и подобию...

Будьте же благословенны и долговечны,
ибо, если мы Вам наскучим
и Вы хлопнете дверью,
обнаружится такой дефицит поэзии,
который может привести в удушью
еще живых.

1987

АНТИЧНОЕ

Поэт и поэтесса —
о, их высоколобости!
Боюсь, то нет прогресса
и в этой древней области.
Сапфо с Алкеем ладила.
Как телефонограммы,
ждала звезда Элладина
его эпиталамы.
Но над Алкеем — фатум.
Прощай, певец, прости.
С идейным эмигрантом
звезде не по пути...
А тут земные радости:
рельефный корабельщик,
сам — воплощенье младости,
к тому ж не из робеющих.
Лишь осознав, что бронзовость,
вся в бисеринах пота,
не ей сияет,— бросилась
Сапфо в пучину, понта.
А может, ночью плакала
по своему Орфею
и утром просто плавала,
полна тоской своею,
чтобы лицо и чресла
омолодить в источнике...
Ведь всем давно известно,
что врут первоисточники.

Праздники жизни... Глаза открываем —
песня по кругу идет с караваем

вот такой ширины,

вот такой вышины.

Каравай, каравай,

кого любишь, выбирай.

Всеми любима: молочницей Мотей,
папой, и мамой, и дядей, и тетей,
только не мальчиком с челочкой русой,
сладко под елкой быть грустной-прегрустной.

Вот она — в бусах, флажках, канители.

Лампочки, кажется, перегорели.

Свечи зажжем. Все подарки раздали?

Праздники жизни — в самом разгаре...

Это не праздник! Нет, праздник. Но, боже,
даже не он, просто чем-то похожий,
может, походкой, а может, очками,
сердце о том извещает толчками.

За руки — за́ город. Все мне желанно:
тамбур вагона и шлягер «Сюзанна».

Как нас друг к другу прижали, замкнули
в душном пространстве, в блаженном июле.

Если не скоро, не завтра и даже
не сей же час, то когда же, когда же?

Эх, Сюзанна
любимая моя!

Как на свете

прожить мне без тебя?..

Ведь проживет... Дай, спрошу у гадалки,
что меня ждет, не судьба ли весталки?

Дамский набор: почтальон с новостями,

слезы — горстями, застолье с гостями...
Праздники жизни все тише и глуше.
Что это? Лупа. А это? Беруши.
Что-то увидеть — большая удача,
а не услышать чего-то — тем паче.
Не претендуем на корпус в Кремлевке —
лучше уж дома, в своей мышеловке.
Все забываем. Одно прозреваем:
песня по кругу идет с караваем.



Вы — себялюбца, вы — нарцисс,
живете, суть свою скрывая,
и удивляетесь, что вниз
ползет духовности кривая.
А вы — духовны. Шестьдесят
с вас мародеры захотели
за томик, взятый напрокат
в рассчитанном на то отеле:
«Евангелие»... Так попал
Сам Бог в чертог ваш ирреальный,
слегка смешной, слегка печальный,
где гарнитуры из зеркал
все, даже кúхонный и спальный.
Вы, вы во всем отражены —
единственный здесь признак жизни,
у вас ни друга, ни жены,
в них нет нужды при нарциссизме.
Зачем вам кто-то там другой?
Тот болен СПИДом, та — проказой.
Любуетесь своей нагой
душой, как женщиной прекрасной,
и смотрите в свое лицо
влюбленно, самоупоенно.
«Самодостаточность» — словцо
не божеского лексикона.
Самодостаточен ли глаз
на нас глядящего светила?
Самодостаточна ли Сила,
Которая меня и вас
Себе на радость породила?



Дачи поэтов Е. Благиной и А. Тарковского находятся в подмосковном поселке Голицыно недалеко друг от друга.

От Благиной до Тарковского
ничего нет такого броского,
никакой заморской экзотики —
только садики-огородики,
только звездами — одуванчики,
только заросли мать-и-мачехи,
снять да снять вперемешку с лютиком
(бить и бить комарилью прутиком),
цвет шиповника — ранка алая,
как признание запоздалое...
К вам цеплялись такие демоны...
Однолетки, погодки — где они?
Кто в забытой яме ссутулился,
кто задолго до смерти скурвился,
кто пропал на чужбине без вести,
а кого постарались здесь извести...
Как же выдюжили, как же выжили?
Помогали ль вам силы высшие?
В многознание — печали многие.
Как же стали другим подмогою?
Просто держитесь, скромно царствуете.
Вот вам частное: «Благодарствуйте!»
Звонкой бронзы набросок глиняный —
для Тарковского,
для Благиной.

1987

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ

А. Межирову

Землетрясение? Нет, хуже:
самосожжение. Овнам
и кабанам нет места. Ужас
бездомья угрожает нам.

Но дом не там, где ты прописан,
не там, где взяли на постой,
а только там, где Божьим смыслом
оправдан даже миг пустой.

Чем жить во дни великой ломки?
Молить за братьев и сестер
или подбрасывать соломки
в нерассуждающий костер?

* * *

Может, это последний снег.
Не последний, так предпоследний.
Он еще рассыпчатей тех,
что сияли мне малолетней.

Может, это последний взлет.
Не подумала, виновата:
не последний — последний тот,
из которого нет возврата.

Может, это... Колдуй, колдуй —
так легко себе напроорочить —
предпоследний мой поцелуй.
А последний — будет короче.

II

БРАЗИЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

* * *

Копакабана... Копакабана...
Путь вдоль Атлантики неспешен.
Меня встречает, как ни странно,
поэт Валерий Перелешин.

Он, большеухий и большеносый,
живет в скворечнике, как птица,
но с панскою цевницей росса
ему назначил Бог родиться.

В убежище, куда посмели
засунуть крошку Гуинплена,
продернут млечный звук свирели
жемчужной ниткою сквозь стены.

Здесь, где проблематичны двери
и где проблематичен ужин,
я с полу подыму, Валерий,
одну из раненых жемчужин.

ИГРА В ГОЛЬФ

Да, старики. Но игроки,
но остряки, но кавалеры,
а не скопцы, не мозгляки,
не ортодоксы, не старперы.
Какой газон! Вот первый сорт
семян — посеете, польете
и подождете лет пятьсот,
как в знаменитом анекдоте.
С каким достоинством гольфист
по шару, не клонясь, не горбясь,
бьет — и лишь вверх отводит кисть,
лишь чуть перемещает корпус.
Сам свой наставник и судья,
природы друг, свободы гений,
играет, не производя
искательных телодвижений.
На обихоженной земле
шатром кудрявится мангейра,
и под колеса «шевроле»
ложится Рио-де-Жанейро.
...Россия! Ты когда начнешь
читать гольф, отращивать газоны,
не с молотка и не под нож
пуская общие миллионы?



Полдня играет солнце в жмурки,
на пляже черные фигурки,
как шоколадные бобы,
выглядывают из толпы.
— Вы не расистка? В самом деле?
Я затвердила с колыбели
стишок «Братишки»...—
Кто про что!
В гробу здесь видели Барто.
— ...Вот «Апокалипсис, к примеру,
пророчит даже негро-эру...—
Но в Рио «шоколадный боб» —
почти как толокенный лоб.
А впрочем, пляж — такое место,
где в октябре еще не тесно.
И те и эти пьют вzasос
коктейльным способом кокос.
На авенидовой брусчатке
волн черно-белых отпечатки.

ОКЕАН

Потрогаю рукою океан.
Рука на ты с древнейшей из субстанций.
Уйдет в песок — бесхитростный кашкан
и обернется ластой, может статься,
а то клешней.
Свой панцирь покачав
по воле волн, нырну нырком: нирвана,
 смешаю крови родственный состав
с химическим составом океана.
Вся эволюция наоборот
займет не более одной минуты.
Что наверху осталось?
С родом род
и с классом класс дерутся.
«Баламуты!» —
вздохну, и все, хочу забыться влать.
Но Океан — он мыслящий по Лему —
включит мой дух как составную часть
в принципиально новую систему
творения...

* * *

На песке следы ступни,
первый палец всех длиннее.
Тут купаются одни
пусть плейбои, но плебеи.

А со мной живет сам-друг
красота иного вида:
микеланджеловский дух,
воплощенный в стать Давида.

Как божественный хорал
подымаясь к своду зданья,
он стопою попирал
всю систему воспитанья.

Рома... Рио... Вдруг песок
брызнет мне навстречу кварцем?
Где он, этот полубог,
со вторым предлинным пальцем?

ЛЮБОВЬ

В октябре 1989 года в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро состоялось несколько представлений оперы «Евгений Онегин» силами международной оперной труппы.

Татьяна в Рио: канделябры-свечи,
альков, как у принцессы, и весьма
занятная невятица «Письма»,
что на романском писано наречье,
но спето ей по-русски.

Пестрый зал,
забыв про карнавалы и про самбы,
впивает полупушкинские ямбы
(Модест Чайковский их переписал
и, если правду говорить, опошлил).

Но в них любовь — наимоднейший клип,
любовь — вернейший пропуск на Олимп,
любовь — паломница без виз и пошлин.

Фигура страстотерпца на горе¹
к иной любви взывает.

Но и эта
Его улыбкой косвенной согрета.
И кажется, в японском словаре,
чтоб пояснить: любовь — не блуд из блудов,
а посещение свыше, может быть,
решился кто-то присовокупить:
«То чувство, что испытывал Нехлюдов
к Катюше Масловой...».

¹ Имеется в виду статуя Христа на горе Корковадо, вознесенная над Рио.



В гостивых Рио-де-Жанейро
о чем застольный разговор?
О том, что надо было б нейро-
хирурга вызвать на ковер:
напутал в черепной коробке,
хоть и старался напоказ,
в мозгу перегорели пробки
и светоч разума угас.
О чем еще?
Нет, не о небе,
простертом, словно божья длань,—
об участившемся киднепе.
— Закон? Попробуй их достаны!
Растительность у нас богата,
но всходит вовсе без числа
то, что Бодлер назвал когда-то
«Les fleurs du mal» — цветами зла...
И в двух шагах от океана,
где во вневременность пролом,
в ходу все та же икебана:
зло сочетается со злом.

* * *

Если бы лебедь белый
выкупался в метели,
если бы розы дендрария
душных духов захотели,
если бы солнцу в небе
потребовался сменщик,
я бы и то, наверное,
удивилась меньше,
чем увидев на пляже,
где дрема и нега,
черного-пречерного негра,
рожденного в городе
Жакукура
и алчущего загара.

* * *

Ванька-мокрый, вон куда утек,
залил все, от рытвин и до кочек,
а казалось, комнатный цветок,
лопоухий аленький цветочек.

Сводничал на ярмарке невест,
на окошках красовался вдовьих.
Переправился под Южный Крест
и растет на всяких неудобьях.

Воля с болью или сладкий плен?
Ливень с ветром или штамп с пропиской?
Полыхает, как ацетилен,
дикий бальзамин, Иван Бразильский.

III

МАТЬ МАРИЯ

(поэма)

*Ни формулы, ни мера вещества
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.*

Елизавета Кузьмина-Караваева

В 1991 году исполняется 100 лет со дня рождения Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, более известной под именем матери Марии. Адресат писем и двух прелестных стихотворений А. Блока («Когда вы стоите на моем пути» и «Она пришла с мороза раскрасневшаяся»), поэтесса, посетительница «башни» Вячеслава Иванова, родня — по первому мужу — Н. Гумилеву, Елизавета Юрьевна, казалось, вошла в литературную среду эпохи естественно, прочно, без особых трудов со своей стороны. Но иное влекло ее...

Перед революцией Кузьмина-Караваева становится вольтнослушательницей Петербургской духовной академии. Много размышляет о путях России и своем собственном пути в свете религиозном. И вдруг новый поворот, еще одна ипостась слишком широкой (по Достоевскому) натуры: в 1918 году Кузьмина-Караваева — исполняющая обязанности городского головы в Анапе, явно сочувствующая большевикам. Затем любовь к белому атаману Д. Скобцову и разделенная с ним доля: эмиграция, скудная жизнь в Париже, семейный воз — в доме — шестеро, включая троих детей.

Потеряв младшую дочь, Кузьмина-Караваева принимает монашеский постриг. Стать матерью всем страждущим — вот что двигало безутешной ей. Чистой монахини из нее не получилось, не тот темперамент, не та сверхзадача души, явившейся в мир на роковом изломе эпох. Но матерью многим и многим сирым, обездоленным она стала. Париж, ул. Лурмель, 77 — лишь один из адресов... не скажу «богаделен» — скорее очагов милосердия и христианской любви, устроенных матерью Марией.

А какие умы дарили ее подопечных своими откровениями: Н. Бердяев, С. Булгаков, Г. Федотов.

Положить «живот свой за други своя» — этот евангельский идеал определил весь человеческий и духовный путь моей героини, освятил и ее участие во французском «Сопrotивлении», и ее гибель в газовой камере «Равенсбрюка».

Всю свою жизнь мать Мария писала стихи. Даже в концлагере, по воспоминаниям уцелевших узников, она сочинила несколько стихотворений, но они утеряны. Вот почему я позволила себе писать поэму от первого лица как монологи моей героини.

Т. Ж.

**Выражаю благодарность протоиерею
Сергию Гацкелю, из книги которого
«Мать Мария» (Имка-Пресс, Париж)
я почерпнула много важных для меня
сведений о героине поэмы.**

I

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая...

А. Блок. 1908 г.

Я возвращаюсь с прогулки, на лестнице сидит
Кузьмина-Караваева. (...) Она просидела на лестнице
3 часа, да у меня почти до 5 часов утра. Разговор
все о том же: о пути и о власти (и об «очередях»
и «сроках»). Я очень устал.

А. Блок. Записные книжки. 1916 г.

А не надо ходить по живым и красивым поэтам —
лучше Тютчева чти!
Ты остался вдали, ты смешался с весенним рассветом,
ты растаял почти.
Мой поэт, эти руки хранят еще запах металла:
на перилах твоих
я чугунные струны перебирала,
я играла на них.
«Что?» — ты спросишь. Небесную увертюру
к вечной опере «Он и она».
Он — великий поэт, а она в него сдуру
влюблена.
До любви ли теперь? Все другим обуянны,
сыты-пьяны войной.
Если держит держава сокрытыми раны,
брызнет гной
на тебя, на меня — вижу это воочью.
Помнишь, кто-то поднес
распятому напиток? От укуса с желчью
отказался Христос.
Не такую ли поску готовит России
сонм бескрылых богов?

Уксус с желчью — древнейшая анестезия —
не отменит Голгоф!
Сроки скрыты от нас, неизвестны извивы
и провалы пути,
знаем только, что нету альтернативы:
мраком к свету брести...
Засидевшись в гостях, в тихий час предрассветный
я заметила вдруг
над висками твоими размытый двухцветный
ало-пепельный круг.
Почему ты смутился, меня провожая,
почему попросил
проходить Офицерской, тебя ограждая
от неведомых сил?
Я не помню лица отстраненной и строже.
Ты боишься — чего?
Или прав Рудольф Штейнер, и творчество — то же
бесовство?
Кто же будет ведущим, кто же будет ведомым,
как ту власть превозмочь?
Желто-красен восход за твоим серым домом.
Кровь? Гной? Желчь?
Положи мне на плечи, как давеча, крылья
голубые свои,
чтобы силу сумела извлечь из бессилья
и Любовь — из любви.
Ты пленился девчонкой, никем не любимой,—
маков цвет.
Мне ж пылать купиною неопалимой,
мой поэт.

II

Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать Вам не только то, что получил Ваше письмо. Я верю ему, благодарю и целую Ваши руки. Других слов у меня нет, может быть, не будет долго.

А. Блок — Е. Кузьминой-Караваевой

Вечером, едва я надел телефонную трубку, меня истерзали: Л. А. Дельмас, Е. Ю. Кузьмина-Караваева и А. А. Ахматова.

А. Блок. Записные книжки

Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушел бродить. На время надо все кончить.

А. Блок — Е. Кузьминой-Караваевой

Попробую с тобой не видеться, не кланчить «на минутку» по телефону, о любви не поминать, пусть даже в шутку.

Не останавливать знакомую твоей знакомой:
— Вы Блоков видели (легко ли жить ему в семье законной)?

Давай отложим эту страсть-мордасть до светопреставленья, чтоб, если уж упасть,— пропасть со всеми в огненной геенне.

От искушенья откажись, меня надеждами не мучай.
До жизни новой, жизни лучшей, давай отложим эту жизнь.

Все это кончится ничем.
Стена — за первым поворотом.
Упорно предъявляю чек,
подписанный уже банкротом.

Душа душе отозвалась,
но жить и умирать нам розно.
«Религия» — и значит «Связь»,
и любим мы религиозно.

Мечтанье — вечный наш удел,
свершенье — не по нашей части,
смешон нам тот, кто захотел
осуществившегося счастья.

И только тень надежды есть:
быть может, там, в конце дороги,
Предвечный свяжет то, что здесь
связать нам не судили боги.

III

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла...
...Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи...

А. Блок

...Уже никого и ничего не жаль, даже
не жаль того, что не исполнилось. Важен
только попутный ветер, и его много.

Е. Кузьмина-Караваева — А. Блоку

Попутный ветер не тот, что в спину,
а тот, что в грудь...
О том, что Родину покину,
могла ль подумать когда-нибудь?

Отец! Твоим Никитским садом
бреду: каштаны зацвели,
разгадка тайны где-то рядом,
вникаю в азбуку земли.
Но вѣсти о восстанье. Где я
услышала «война — дворцам»?
Спалили школу виноделья.
Не попустительствуй юнцам!
Отставка. Смерть. Твоя могила —
как слепок с тех угрюмых лет.
«Нет Бога!» — я тогда твердила,
и все сходилось: Бога нет!
По обескровленной Европе
спешу на твой чуть слышный зов.
Каменноугольные копи
остались от живых стволов...
Мать! Ты со мной, и это сладко.
А в доме тетушки твоей
та запредельная лампадка
горит все ярче, все больней.
Приют наш тут нетверд и времен,
но похристосоваться — что ж...
Мы — золушки в гостях у фрейлин,
с нас, бесприданниц, что возьмешь?
Сырая, мерзкая погода,
в лучах один иконостас,
мне обер-прокурор Синода¹
яйцо пасхальное припас.
— Дитя! Народные волненья —
противу Бога и людей.
Любовь — его соизволенье.
Остерегайся лжеидей!
Тот будет гнить на пепелищах,
кто медлит потушить разбой.
Спаситель нас наставил: «Нищих
всегда имеее с собой...»

— Вы не добры! — вспылила жалко:
мне словно кто-то диктовал.—
Кто добр, тот добр ко всем! — Нахалка.
Тут спорщик перекрыл канал...
Мой старший друг из самых лучших,
мой Дед Мороз, мой добрый зверь,
даритель книжек и игрушек,
вы торжествуете теперь?
Не ждите Лизоньку с повинной.
Вы — оборотень, вы — Кощей:
совиные крыла, совиный
зрак, устремленный в глубь вещей...
Мы нынче — беженцы. Пониже,
чем сандрильоны. Все одно:
есть молотилка и в Париже.
Хоть сыроватое зерно,
она нас мигом смолотила.
Горчит приезжая семья.
Нас шестеро: мать, сын, Данила²,
Гаяна с Настенькой³ и я.

IV

Россия осталась во мгле
на заклятой земле.
Россия осталась без нас
в свой мистический час.
— Данила, зачем мы уехали?
— Станный вопрос.
Забыла Анапу?
Спасибо, что ноги унес.
— Анапу я помню:
и волны, и берег, и твой
порыв объявить меня
чуть ли не Жанной святой.

— Тебя бы казнили.
— За что?
— Объяснить не берусь.
Нож ищет, где плоть,
и тепло, и колотится пульс.
— Так я же была головой.
Кто на «ты», кто на «вы»,
но власть — у меня.
— Голове не сносить головы.
Не белым, так красным
попалась бы точно на зуб.
— Протапов⁴ мне верил
и был мне по-своему люб.
— Протапов твой — чудик,
а чудики судят чудно.
Погубят себя
и Россию с собой заодно.
Ложись, ты устала.
Ту жизнь все равно не вернем.
Мне завтра шоферить.
Как русский, так спит за рулем.
Ты мне дорога.
Ты и дети — мой главный маршрут.
А волны и берег —
все это в избытке и тут.

V

...оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее...

Евангелие от Матфея

Чадушко мое! Мой свет!
Совершенное творенье!

Имени дороже нет:
Воскресенье, Воскресенье.
Твой отец — он атаман.
Я ли с ним не сотворила
прелюбы? Горяч туман,
крепок спирт мужского пыла.
Разве, с плотью плоть сплетя,
ублажив свою утробу,
вспоминаешь: там — дитя,
что похоже на амебу?
Ты могла бы с плавником
первобытным появиться,
телом кольчатым, хвостом
укорять меня, блудницу.
Но Незримый, мудр и благ,
грех простил своим созданьям.
Жемчуг в раковине так
наливается сияньем,
как во мне ты зрела...
Дочь!
Около твоей кровати
я не сплю какую ночь,
мокрые ласкаю прядки.
...Муж, услышав про дитё,
что Она несла во чреве,
отпустить хотел Ее...
Ни словца о правом гневе.
Господи! К любой из дев
приложима эта мудрость:
муж, он вроде не у дел —
пламя изнутри взметнулось.
Если плод того огня
пеплом станет — прочь, мирское!
Да не тронет ввек меня
вождеделение мужское...
Господи! Великий труд,

а не леность духа — вера.
Этот строгий институт
назван именем Пастера
не напрасно — одари
доктора с лицом небритым
божьей искрой, озари,
как бороться с менингитом...
Господи! Казнюсь, винюсь,
что осаниста и статна,
в три погибели согнусь —
только дочь верни обратно.
Не миндальничай со мной,
на — какую хочешь лепту:
бедная — пойду с сумой,
близорукая — ослепну,
буду чистить нужники,
в платье смертника оденусь —
только Настю извлеки
из провала в беспредельность...

Господи! Прими с миром
душу
новопреставленной рабы Твоей
отроковицы Анастасии.

VI

Оставьте, оставьте, я зла совершила немало:
любила свое, а чужое, как срок, отбывала,
дарила своих, а чужих унижала даяньем.

На белых и черных мы целостный мир разделяем.
И чем вдохновляемся? Только своими страстями.
Они неизменны — меняются масти местами...
У гроба, касаясь руки и головки дочерней,
я вдруг ощутила, что дух — это свет невечерний,
плоть — только бумажный фонарик, в котором колечко,
где ярко горит негасимая сильная свечка.
Свечу унесли, и коробочка — тело без духа —
сперва потемнела, а после помялась, пожухла.
Бог отнял дитя, потому что любила волчицей,
почувяв угрозу, могла и клыками вонзиться.
Бог отнял дитя, чтоб смотрела не в чрево, а в небо,
превыше земного алкала небесного хлеба.
Я худо жила, к ежедневной прикована тачке.
не вести благой ожидала — просимой подачи.
Семья — то же «я», только все умножается на шесть:
шесть душ, шесть обуз — и крылам серафимовым тяжесть.
Согбенных в труде, проходящих пустыню чужбины
напиться скликала, но видела спины и спины.
Слова без любви, все равно что вода без сосуда,
уходят в песок — не дожدهшься ни чуда, ни юда.
Себя я любила, свое отражение в сущем —
отринутый мир отвечал мне молчаньем гнетущим,
и Тот, кто Себя на закляние отдал, в молчанье
глядел на меня: как посевы Его одичали...
Париж, Пиренеи, для многих объект эйфории,
во мне — ваши шахты, притоны и норы сырые,
со мной — вечный толк об углах, о бесплатных обедах.
Блок тоже увидел Христа, взревновавши о бедных!
Но бедные — все! Все — еще не возросшие дети.
И всех мне любить, и отныне за всех быть в ответе.

VII

Алкати имаше и жаждати, досаду же подяти и
укоризну, поношение же и гонение...

...Егда же сия вся постраждеши, радуйся, рече
Господь, яко мзда твоя много на небесах.

Последование иноческого пострижения

Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот бо-
гатеет.

Мать Мария

Хитон нестяжания и нищеты,
приемлемый вольно...
Не я повлеклась за тобою, но ты —
за мной. Я — безвольна.
Я лишь на подхвате у высших начал,
всех мыслимых краше.
Отметил, расчистил пути, обязал:
«Алкати имаше...»
Цвет церкви — монашество. Знаю: светла
уютная келья.
Над Лизой Калитиной слезы лила.
То время — отпели.
А наше — другое. Когда и Псалтирь
под дулом нагана,
от зла и насилья уйти в монастырь
неужто не странно?
Приблизились сроки. Аттилы грядут.
Покуда мы нижем
слова, как мятется российский наш люд
по хладным Парижам,
как поло внутри: ни в народ, ни в царя,
ни в Бога нет веры.
Мария! Священна минута сия —
люби их без меры!
Стряпухою стань у печи, подоткнись,

как русская баба.

В отглаженность ряс, незапятнанность риз
мне верится слабо.

Мой дико обставленный дом караван-
сарая подобен,
где тесно сгрудились кто зван и не зван,
как перед потопом.

Скобцов (бывший муж), хоть и сдержан при мне,
плюется: «Отребье!»

Подумай сначала о мзде на земле,
темно — что́ на небе».

И дочь недовольна: «Зачем собрала
всех барынь на вате,
кликуш, наркоманок, бродяг без числа?

Уйду от вас — хватит!»

Но как же так, Господи? Это же — Русь,
пускай наизнанку.

До самой последней из всех умалюсь:
простите мирянку!..

Вскочу спозаранок — дом спит — прочешу
с огромною торбой

центральный базар и на все «шу-шу-шу»:
— Саврасушка, трогай!—

Но тут и Саврасушки нет. На горбе
корм сносится в нору.

Мария! Стенанья к лицу ли тебе?

То Лизоньке впору.

Две русские. Тощие. Смотрят в упор.

Воркуют голубки:

— Монахиня? Где же крахмальный убор?

Поп в юбке!

— Пойдемте со мной. Накормлю. Уложу.

— С какой это стати?

Сбежим. Обворуем.

— На это скажу:

«Досаду подяти...»

VIII

...безумец, параноик, место которому в палате сумасшедшего дома, который нуждается в смиренной рубашке, в пробковой комнате, чтобы его звериный вой не потрясал вселенной.

Мать Мария о Гитлере

Я-то здоров, а жизнь сошла с ума...

Слова пациента психиатрической лечебницы, приведенные в статье м. Марии, опубликованной в Париже в начале 1939 года.

— Я-то, матушка Марья, здоров.
Там, под Пермью, моя деревенька.
Мне бы вырваться от докторов
да на воле пожить хоть маленько,
побывать бы в родимой избе,
пожевать бы чего-нибудь с грядки.
Я здоров. Это жизнь не в себе.
Жизнь свихнулась, а я-то в порядке...—
Верно, брат: ты других не глупей.
С места сдернули, мучили, мяли.
Верно, рос на задворках репей,
верно, мать твою кликали Марьей...
Психбольницы набиты битком.
Ухожу — рев, лай, бляеные следом.
Беззащитных держать под замком —
для чего? На обед людоедам?
Кто сумел так все перевернуть:
упасти от привинченных коек
настоящих безумцев, чью суть
обнажил верховод-параноик?
Прав пермяк, жизнь рехнулась. Толпа
лжепророков венчала на царство.
Все поставлено на попá:
даже время, даже пространство.

В этот миг... Ни одна долгота
не бывает на свете длиннее
ожиданья. Я вижу Христа
проходящего — слово Линнея.

IX

Мы не только верим в обетование блаженства сейчас, сию минуту, среди унылого и отчаявшегося мира, мы уже вкушаем это блаженство, когда с Божьей помощью и по Божьему повелению отвергаем себя, когда имеем силу отдавать свою душу за ближних своих, когда в любви не ищем своего.

Мать Мария

Пришли. Арестовать. Меня. В моем
дому. И похваляются бесчинством.
Почти две тыщи лет тайком, тишком
Иуда искушается нечистым.
Любовь Христова для Иуды — нож.
Завидев крест, он извергает мрак свой.
Вот — Гофман. Русский ли, прибалт ли, бош —
в составе крови: «Предавай и властвуй!»
Допрос еще последует. Пока
есть я и некто. Время очной ставки.
Он:
— Поднялась же у тебя рука
все это затевать: фальшивки, явки,
убежища для беглых... Мельтешня.
Ты, божья дочь, должна быть выше тлена.
Послушалась бы, вещего, меня,—
жила бы долго, мирно и степенно.
— Я помогала ближним.
— Ближний — миф.
Тому отдай сыновние кальсоны.
Того спасай, подложно окрестив.
Народ Христа? Да все они — масоны!
У Блока... Помнишь?

— Помню ли его?!
— ...по воле полудетского каприза
ты что-то наплела про бесовство.
Ты начинала сатанизмом, Лиза!
И вот я здесь. Такие, как твой страж,
для нас не представляют интереса.
Вы — мед, шербет и хлеб насущный наш.
Хоть и монашка ты, но поэтесса.
Дух прелести приблизиться готов
к лобому, кто царапает хоть что-то.
Поэты — потрясатели основ.
А потрясения — тишь и гладь для черта.
Тебя мне, впрочем, хватит опекать.
Вопросы есть? Я тут один докладчик.
— Я оставляю немощную мать.
Что будет с ней?
— Она не из гордячек,
как ты, — и небо покоптит еще.
— Мой сын?
— Ты обрекла его Шеолу⁵.
— Мой муж?
— Тебя любил он горячо.
Ты не мою ли проходила школу,
что порвала с ним? Муж твой невредим,
но карта жизни Д. Скобцова бита.
А над тобой я вижу красный дым.
Ты, Лиза, у разбитого корыта...
(Победу торжествуешь, Асмодей?
Всю руку хочешь, ухватив за палец?)
— Изыди, бес! —
Мне — Гофман:
— Поживей!
Что вы копаются? (Что я копаюсь!) —
Мое жильё — под лестницей. Гибрид
рабочей мастерской с убогой спальней.
Я с детства знала, что мне предстоит.

Конец суровый, огнепальный...
Тут Гофман — тип мучителя точь-в-точь,
что сладострастно жертвой помыкает,
на мать мою взъярился:
— Ваша дочь
одним жидам охотно помогает! —
Та возразила (в сердце колотье,
от страха за меня похолодела):
— Она — христианка. Нету для нее
ни эллина, ни иудея.
Нуждались бы — и вам бы помогла... —
Страж замахнулся, принял за издевку
ее слова. Но плюнул: «Вот яга!
И дочь — в нее. Монахиня — в чертовку!»
— Идемте! —
С дочками навек простясь,
сначала с Настей, а потом с Гаяной,
такую кровную прямую связь
я разрывала, как прощаясь с мамой.

Х

Время обернулось сейчас апокалипсическим ангелом, трубящим и взывающим к каждой человеческой душе. Случайное и условное свивается и обнажает вечные корни жизни. Человек стоит перед гибелью (...) И кто хочет в наши страшные дни идти единственным путем, увводящим от гибели, — «да отвергнется себе и возьмет крест свой и идет».

Мать Мария

Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет «русский период» истории... России предстоит великое будущее. Но какой океан крови!

Мать Мария

Кто без тувель, без сапог —
в русский блок⁶.

Кто в дороге изнемог —
в русский блок.
Худшая вода —
туда.
Лабута и лебеда —
туда.
Матушка моя Россия,
узницы мои родные,
присосалась к нам беда.
Слышу скорбный говорок:
близится последний срок,
уступил бездушной силе,
отвернулся от России
гневный Бог.
На пути в земной Эдем
бьет неистово
кровь из отворенных вен.
Где же истина?
Может, тот ее познал
сквозь шумы и ветры,
кто в Петрухе⁷ распознал
камень новой веры,
для кого Господень день
вспыхнул заново,
кто в Андрюхе⁷ разглядел
Первозванного?..
Как рыбешка на блесну:
— Уж я ножичком
полосну дык полосну
по угодничкам.
Ныне — этим, завтра — тем
будет солоно...—
На пути в земной Эдем
все дозволено!
Зла хлебнули, и с лихвой.
Что же — молодежи?

Разногласьем вздорных воль
спорим с Тобой, Боже.
Соловки на Соловках —
вот что мы настроили.
Неужели божий страх —
цель истории?
И не верите в Христа,
а покаяетесь:
суть-то времени проста —
Апокалипсис.
— Хочешь злата-серебра?
— Не хочу! — ответствуй.—
Да отвергнусь я себя,
да возьму я крест свой! —
Не гляди поверх голов:
мыслю, мол, в масштабах
человечества. От слов
этих — серный запах.
Возлюби отца и мать —
это не безделица.
Возлюби врага — как знать:
может другом сделаться.
Мы — единая семья,
нет другого средства:
да отвергнемся себя,
да потащим крест свой...
О могуществе обманном
снова начали
говорить к иосифлянам
нестяжатели⁸.
Новоявленный Филипп⁹ —
высший глас ему велит —
кровопивцев и убивцев
снова на миру клеймит.
И пока наш слух терзаем
неживым звучаньем строк,

новорожденный Державин
снова пишет оду «Бог»...
Кто без туфель, без сапог —
в русский блок.
Кто в дороге изнемог —
в русский блок.
Худшая вода —
туда.
Лабута и лебеда —
туда.
Матушка моя Россия,
узницы мои родные,
присосалась к нам беда.

XI

Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Неужели вам непонятно, что борьба идет против христианства? Если бы мы были настоящими христианами, мы бы все надели звезды.

Мать Мария

Народ Христа, народ пророков,
прости незрячим злобный стих.
Я вольнослушатель твоих
неукоснительных уроков.
Когда тебе назвался Бог
вверху горы, не в снах, а въяве,
«Я есмь», «Есмь... Есмь...» — за эхом «Ягве»¹⁰.
впервые произнес пророк.
Наученный людскою ложью,
Господь выхватывал из толп
мужей, чьи легкие и лоб
вместить могли бы правду Божью.
А те артачились: «Я слаб...
Косноязычен... Слишком молод..»

Сыны Израиля не могут
принять того, что скажет раб».
Но лава слов текла. Господне
«Я буду при твоих устах»
сбывалось: «Завтра станет прах,
что перевозносится сегодня.
Я — ваш родник,— звучала речь.—
А вы, безумием ведомы,
себе сложили водоемы,
в которых роковая течь.
Неправдой рухнет вечный город.
Пока вы ждете яств с небес,
уже я слышу лязг желез.
Спешит грабеж, добыча гонит...»
Он вразумлял тебя, Сион,
как отче первенца. Сурово,
но снисходя в любви. То Слово —
для всех племен, для всех времен.
«Народ лукавый, любодейный...» —
да мы не схожи ли судьбой?
Не общая ли наша боль —
те дни, за Вербную неделю?..
Он под загаром светлолик,
плывут над Ним цветы и вайи...¹¹
Мы славили и распинали
Христа в один и тот же миг.
И в Иудее и в России
одно. И как не надоест?
Где проповедь любви — там крест...
И были верные Мессии,
и те, которым все равно,
и те, кто отвернулся: «Ересь!»
Бог вас рассеял. Земледелец
разбрасывает так зерно.
Но не иссякли вы, скитаясь,
не обмирщились. Иудей

простертой мышцею своей
всегда касался тайн и таинств.
Не гаснет свет у вас в окне.
Вы — первые христиане мира.
И сочинитель злого мифа,
на вас нацелясь, бьет по мне.

XII

«Я сильна и крепка» по-немецки,
а по-русски «Я стала... старухой» —
вот единственная открытка,
что прошла сквозь круги Равенсбрюка.
Не подумайте, что ублажала
толстозадую дуру-цензуру.
Знайте: в плоти моей обветшалой
дух подобен алмазному буру.
Я о плоти сказала на плотском
языке материнском-отцовском.
Я о духе сказала на книжном
языке, тоже данном Всевышним,
языке Нибелунгов и Гете,
языке Гельдерлина и Канта,
кто, конечно, никак не в ответе
за ублюдка, садиста и ката.
Зло — не сущность. Оно — пересмешник
мыслей здравых, но слишком поспешных,
чувств незрелых. Ведь темные страсти —
тоже светлые чувства отчасти.
Дьявол все собезьянничал с Бога —
лишь с любовью у сирого плохо...
Любишь, нет — плоть равно истлевает,
как над ней, горемычной, ни бейся.
Дух, любя, далеко отлетает,
устремляясь домой, в поднебесье.

ХІІІ

Мы верим. И вот по силе этой нашей веры мы чувствуем, как смерть перестает быть смертью, как она становится рождением в вечность, как муки земные становятся муками нашего рождения.

Мать Мария

К той акушерке, что косою
нас повивает в жизнь иную,
иду утоптанной стезей
и пограничный столб миную.
Река. Заезженный Харон,
по виду старшина-сверхсрочник,
меня сажая на паром,
бубнит, сердит, о сверхурочных.
Но вот уж берег. Дочки, сын
ко мне бегут и кличут дедом
того, без палки и седин,
кто молча поспешает следом.
Родные! Выбрать свой конец —
пик жизни. Я не знала страха,
приняв страдальческий венец
той, из советского барака,
не верящей в сверхбытие,
не видящей опоры в тверди.
Что во вселенной для нее
убийственной, чем тайна смерти?..
Я чаю: освященный мозг
ту тайну расщепит, как атом,
и перекинет дерзкий мост
к мирам под солнцем незакатным.
Смерть перестанет быть врагом.
Потомок длань протянет предку.
Нетерпеливая, бегом
я отправляюсь на разведку.

XIV

«Все мы там будем», — сказала она, показав на дымящуюся красным пламенем трубу крематория. Я по глупости стала ее успокаивать. Она с изумлением и грустью посмотрела на меня.

С. В. Носович, узница Равенсбрюка

Кому кадила, грозная труба?
Диктатору? Он смят народной волей.
Ты — как победоносная тура
на брошенном кроваво-черном поле.
Опять остался ход за князем тьмы.
Он все страдает головною болью,
отвлечься хочет, поиграть с детьми,
тем паче что играл с самим собою.
Был лексикон его: «Молчать!», «Не смей!» —
теперь он человечней, современной.
Страшна не смерть — страшна худая смерть:
во лжи, во зле, а пуще — в ослепленье.
Кто мучил нас, о тех я ни гу-гу,
мне неизвестны бездны преисподней.
Но мы, страдальцы, утверждать могу, —
не лагерная пыль, а прах Господний.
Всяк был из ниоткуда взят, возник
смешным путем — счастливая идея!
Не проще ль Мастеру отлить двойник,
уже имея форму для изделия?
Тьмы жен и дев, тьмы-тьмущие мужей, —
я счет невинным жертвам потеряла, —
воздвигнуть нас из праха — неужель
у Господа не хватит материала?
Мы потечем могучею толпой,
нешумной, некичливой, непарадной,
которая не утлый шар земной —
все мирозданье препояшет правдой.

О, мы — свидетели таких времен,
что сонмы бестелесных сил заменим,
и вострубим, и наш прейдет эон,
и это будет первым Воскресеньем.
...Что ждет живых, о том я умолчу.
Немного проку путь свой знать заране.
Из благ земных жалею лишь свечу,
и не в божнице — на каштане.

1989

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К ПОЭМЕ «МАТЬ МАРИЯ»

- ¹ /стр. 80/ К. П. Победоносцев.
- ² /стр. 81/ Д. Е. Скобцов, муж Е. Кузьминой-Караваевой.
- ³ /стр. 81/ Ее дочери: Гаяна — Земная, Анастасия — Воскресение
(греч.).
- ⁴ /стр. 82/ В 1918 году председатель Анапского ревкома, большевик.
- ⁵ /стр.90/Преисподняя (*древнеевр.*).
- ⁶ /стр. 91/ В фашистском лагере «Равенсбрюк» русский блок значил-
ся под номером 31.
- ⁷ /стр. 92/ Персонажи поэмы А. Блока «Двенадцать». Сравни с име-
нами апостолов.
- ⁸ /стр. 93/ Религиозно-политическое движение в Русском гос-ве в
XV — XVI вв., в котором столкнулись идеи социального служения церкви
и взыскания Царства Божия, что внутри у каждого из нас.
- ⁹ /стр. 93/ Митрополит, требовавший от Ивана Грозного отмены
опричнины, подвизавшийся «за истину благочестия, хотя бы лишился сана
и лютейшее пострадал». Задушен в Твери Малютой Скуратовым.
- ¹⁰ /стр.94/Он есть (*древнеевр.*).
- ¹¹ /стр. 95/ Пальма (*греч.*). «Неделя ваий» — Вербное воскресенье.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Я В ПЕРВЫЙ РАЗ ЖИВУ

Признание	4
«Жду дорогого гостя...»	5
«Мир спасти или только Россию...»	6
«Жизнь начиналась, как у всех...»	7
«Сынок заезжен и замотан...»	9
«Согласна эту жизнь делить...»	10
Диета	12
Учитель	14
«Я застала в цвету поколение...»	15
Храм	16
«Мне не за что больше держаться...»	18
Отечественное	19
«Из дальних странствий ворочусь...»	20
«Первый был молод...»	21
Исповедь	23
«Зачем ведешь меня, Господь...»	25
«Мы — поколение унесенных ветром...»	26
«Не бойся, не бойся, не бойся...»	28
Блаженный Августин	29
Весенняя демонстрация мод	31
«Я — Фамарь, я — жена мирносица...»	32
Сказка про белого бычка	33
Праздник	34
Время	35
Сон	37
«Я прожила свой век...»	38

Д. С. Лихачев	40
«Ты добра?..»	41
Взрослой дочери	42
«Уехала бы, если бы не Бог...»	43
«У тебя инстинкт самца...»	44
Двое	45
Память	47
«Сто сорок пятого псалма...»	49
«И в небесных селеньях мне мнятся такие дома...»	50
«Я — свидетелем чужой любви...»	51
Арсению Тарковскому	52
Античное	54
«Праздник жизни... Глаза открываем...»	55
«Вы — себялюбец, вы — нарцисс...»	57
«От Благиной до Тарковского...»	58
Астрологическое	59
«Может, это последний снег...»	60

II. БРАЗИЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

«Копакабана... Копакабана...»	62
Игра в гольф	63
«Полдня играет солнце в жмурки...»	64
Океан	65
«На песке следы ступни...»	66
Любовь	67
«В гостиных Рио-де-Жанейро...»	68
«Если бы лебедь белый...»	69
«Ванька-мокрый, вон куда утек...»	70

III. МАТЬ МАРИЯ (поэма)	71
-----------------------------------	----

ЖИРМУНСКАЯ
Тамара Александровна

ПРАЗДНИК
Новые стихотворения и поэма

Редактор *Р. Е. Постоянцева*
Художник *Н. В. Мольс*
Художественный редактор *В. В. Покатов*
Технический редактор *Л. Б. Демьянова*
Корректор *Г. А. Носова*

ИБ 6379

Сдано в набор 2.01.91. Подписано к печати 2.07.91. Формат 70х90/32. Гарнитура Т. Таймс. Печать офс. Бумага офс. № 1. Усл. краск.-отт. 7,94. Усл. печ. л. 3,80. Уч.-изд. л. 3,0. Тираж 2 000 экз. Заказ 29. С 021

**Издательство «Современник» Министерства печати и информации Российской Федерации и Союза писателей Российской Федерации
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62**

**Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и информации Российской Федерации
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30**



3